



Г. К. ГИНС

**<«Я одновременно полюбил его
и потерял в него веру»>**

Помимо блока, солидарность действий проявил и Совет министров. Лица, еще не назначенные министрами, выставленные только кандидатами, молчаливо условились не принимать назначений или отказаться от них, если не будут приняты общие требования. Между тем некоторые из намеченных кандидатов представлялись незаменимыми. Таким был, например, адмирал Колчак. Кто мог соперничать с ним по известности, по авторитету? Когда военный представитель Англии генерал Нокс узнал о кандидатуре Колчака, он горячо приветствовал ее и сказал, что назначение Колчака обеспечивает помощь со стороны Англии.

Отсюда пошла легенда о том, что Колчак как Верховный правитель был создан генералом Ноксом.

Адмирал, видимо, тяготился всеми перипетиями борьбы за кабинет. Он сказал определенно, что не будет работать с социалистами, и поэтому присоединился к общему возражению против Роговского как министра внутренних дел, но затяжка кризиса и вынужденная бездеятельность его тяготили. Он замкнулся у себя в квартире, выходил мало и на заседаниях Сибирского правительства, когда его приглашали, довольно угрюмо молчал. Политика была ему явно не по вкусу. Это был человек *военный* прежде всего. <...>

На правой стороне стола, почти в углу его, сидел одиноко адмирал Колчак. Его соседи не пришли, назначенные им места пустовали. Казалось, адмирала выделили из всех прочих и в то же время покинули.

Его пронизательные черные глаза иногда озарялись ласковым и горячим блеском. Они становились тогда лучистыми и обаятельными. Адмиралом интересовались, за ним следили, он был слишком яркой фигурой на сибирском горизонте, его имя стояло рядом с именами Алексеева, Корнилова, Деникина.

Но часто адмирал опускал глаза, его длинные веки скрывали их, лицо становилось непроницаемым и угрюмо-мрачным. <...>

Адмирал из Екатеринбурга уехал в Уфу и прибыл в Омск позже меня. При встрече на вокзале он поблагодарил меня за председательство на съезде и пригласил вечером быть у него на заседании Совета.

Я отправился вместе с Вологодским. Мы застали адмирала во дворе, возле его любимой лошади. Он казался очень счастливым, погруженным в заботы своего маленького хозяйства, но, как только мы приступили к деловым разговорам, он сейчас же потерял спокойствие. На Сукина он положительно рычал, не давая ему докончить доклад. Речь шла, насколько помнится, о размещении американских войск, и адмирал протестовал против предоставления им тоннелей.

Когда текущие вопросы были исчерпаны, адмирал стал рассказывать о положении на фронте. Причины его озабоченности, которую я заметил еще в Екатеринбурге, наконец разъяснились. На самарском направлении наши войска потерпели большую неудачу.

— Возможно, что будет оставлена даже Уфа, — сказал адмирал с твердостью и суровостью, за которыми чувствовался подавленный стон.

«Какой мученик!» — можно было только подумать, глядя на него и прощая ему всю нервозность. Не шапку Мономаха — терновый венец надел он на свою честную голову. <...>

— Слыхали ли вы что-нибудь об адмирале Колчаке? — спросил я одного старика-казака, сын которого служил в Омске и гостил у отца третью неделю по случаю болезни. Пьяный товарищ отрубил ему в Омске ухо.

— Ничего не слыхали. Он, никак, будет из англичан.

— Вот тебе и на! Неужели и сын не знает?

— Как не знать, — замечает сын и тут же рассказывает некоторые эпизоды из военной жизни адмирала.

За три недели у отца с сыном не нашлось времени или случая поговорить об Омске, о войне, о Верховном правителе. И не сумею объяснить почему, но мне показалось, что старик все-таки не поверил, что адмирал — русский. <...>

Адмирал выслушал эти пожелания. Зажег папиросу. Некоторое время помолчал.

— Господа! Что же тут нового? — сказал он. — Созыв Учредительного собрания обещан. Для пересмотра избирательных законов уже назначен председатель комиссии — Белоруссов-Белецкий¹, общественный деятель, пользующийся общим доверием.

Проведение начал законности — это идеал, но как его достигнуть, когда нет честных людей?

Невмешательство военных властей, солидарный Совет — все это желательно, но фактически нет возможности подчинить центральной власти всех атаманов, и нет возможности менять министров за отсутствием подходящих заместителей. Откуда взять министра путей сообщения, иностранных дел, военного, юстиции, когда *людей нет*? Мы — рабы положения. Надо мириться с тем, что есть. <...>

Необычность *коллективного* доклада сразу подействовала на адмирала возбуждающе. По-видимому, к тому же перед приемом министров у него были какие-то неприятные сведения. Впервые я видел его в состоянии почти невменяемом. Он почти не слушал, что ему говорили. Сразу перешел на крик. Стучал кулаком, швырял все предметы, которые были на столе, схватил перочинный нож и ожесточенно резал ручку кресла. <...>

Из болезненных, истерических выкриков можно было понять, что он изливал все накипевшее в его измученной душе.

— Все хотят быть главнокомандующими! Мало быть министром, надо еще быть генералом! Министр все может сделать, но ему надо еще что-то, еще какие-то права...

— Всё плохо! Всё надо преобразовать! Да как же это можно делать, если враг с каждым днем приближается. Какие теперь преобразования!! Оставьте меня в покое. Я запрещаю поднимать подобные вопросы. Я приду сегодня в Совет министров и *заявлю*, что *ни-ка-ких* отставок, *ни-ка-ких* преобразований сейчас не будет!..

Аудиенция кончилась. <...>

Отношения адмирала с союзниками ухудшались. Он перестал им верить.

Скрывать своих чувств адмирал не умел. Он был для этого слишком искренен и экспансивен. И вот однажды произошел такой конфузный случай.

К адмиралу явился весь корпус дипломатических представителей, гражданских и военных. Они предложили адмиралу взять под международную охрану золотой запас и вывезти его во Владивосток.

Адмирал ответил им, что он не видит оснований особенно спешить с вывозом золота, но что если бы даже это основание было, то он все равно не принял бы предложения союзников.

— Я вам не верю, — сказал он, — и скорее оставлю золото большевикам, чем передам союзникам.

Эта фраза должна перейти в историю. Она не только характеризует адмирала, но выражает те настроения, которые в то время появились в отношении к союзникам. Уже тогда родилось то, что потом стало формулироваться словами: «Лучше с большевиками, чем с союзниками». <...>

В начале октября Верховный правитель собирался в дальнюю поездку, в Тобольск. Я решил сопровождать адмирала. Мне хотелось ближе познакомиться с ним, хотелось также побывать на фронте, у самого огня, увидеть солдат, офицеров, ознакомиться с их настроениями.

Как раз накануне отъезда в доме Верховного был пожар. Нехороший признак. Трудно было представить себе погоду хуже, чем была в тот день. Нескончаемый дождь, отвратительный резкий ветер, невероятная слякоть — и в этом аду огромное зарево, сноп искр, суетливая беготня солдат и пожарных, беспокойная милиция.

Это зарево среди пронизывающего холода осенней слякоти казалось зловещим. «Роковой человек», — уже говорили кругом про адмирала. За короткий период это был уже второй несчастный случай в его доме. Первый раз произошел взрыв гранат. Огромный столб дыма с камнями и бревнами взлетел на большую высоту и пал. Все стало тихо. Адмирала ждали в это время с фронта, и его поезд уже приближался к Омску. Взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с гранатами.

Из дома Верховного правителя вывозили одного за другим окровавленных, обезображенных солдат караула, а во дворе лежало несколько трупов, извлеченных из-под развалин. Во внутреннем дворе продолжал стоять на часах оглушенный часовой. Он стоял, пока его не догадались сменить.

А кругом дома толпились встревоженные, растерявшиеся обыватели. Как и часовой, они ничего не понимали. Что произошло? Почему? День такой ясный, тихий. Откуда же эта кровь, эти изуродованные тела?

Когда адмиралу сообщили о несчастье, он выслушал с видом фаталиста, который уже привык ничему не удивляться, но насупил, немного побледнел. Потом вдруг смущенно спросил: «А лошади мои погибли?»

Теперь во время пожара адмирал стоял на крыльце, неподвижный и мрачный, и наблюдал за тушением пожара. Только что была отстроена и освящена новая караульня взамен взорванной постройки, а теперь горел гараж. Что за злой рок!

Кругом уже говорили, что адмирал несет с собой несчастье. Взрыв в ясный день, пожар в ненастье... Похоже было на то, что перст свыше указывал неотвратимую судьбу.

Поездка в Тобольск состоялась. Для адмирала был реквизирован самый большой пароход «Товарпар». Он должен был отойти в Семипалатинск. Уже проданы были билеты, и публика начала занимать каюты, когда пришло приказание: «Всем пассажирам выгружаться». Шел дождь. Другого парохода не было, а публику гнали с парохода. Бедный адмирал! Он никогда не знал, что творилось его именем. Исправить сделанного уже было невозможно, и я ничего не сказал ему. <...>

— Знаете, — сказал адмирал, — я безнадежно смотрю на все ваши гражданские законы и оттого бываю иногда резок, когда вы меня ими заваливаете. Я поставил себе военную цель: сломить Красную армию. Я — главнокомандующий и никакими реформами не задаюсь. Пишите только те законы, которые нужны моменту. Остальное пусть делают в Учредительном собрании.

— Адмирал! Мы ведь только такие законы и пишем. Но жизнь требует ответа на все вопросы. Чтобы победить, надо обеспечить порядок в стране, надо устроить управление, надо показать, что мы — не реакционеры, — словом, надо сделать столько, что на это у нас не хватает рук.

— Ну и бросьте, работайте только для армии. Неужели вы не понимаете, что, какие бы мы хорошие законы ни писали, все равно нас расстреляют, если мы провалимся!

— Отлично! Но мы должны писать хорошие законы, чтобы не провалиться.

— Нет, дело не в законах, а в людях. Мы строим из недоброкачественного материала. Все гниет. Я поражаюсь, до чего все испоганились. Что можно создать при таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи! И министры, честности которых я верю, не удовлетворяют меня как деятели. Я вижу в последнее время по их докладам, что они живут канцелярским трудом; в них нет огня, активности. Если бы вы вместо ваших законов расстреляли бы пять-шесть мерзавцев из милиции или пару-другую спекулянтов, это нам помогло бы больше. Министр может сделать все, что он захочет. Но никто сам ничего не делает. Вот вы излагаете мне разные дефекты управления, ваш помощник их видел — что же вы сделали, чтобы их устранить? Отдали вы какие-нибудь распоряжения?

Адмирал начал волноваться. С обычной своею манерой в минуты раздражения он стал искать на столе предмет, на котором можно было бы вылить накипавшее раздражение.

— Хорошо, — сказал я, — разрешите мне распорядиться, чтобы военные цензоры назначались по соглашению с управляющими губерниями.

— Этого нельзя. Нет, из этого ничего не выйдет.

Адмирал сразу потух. Казалось, своим предложением я сразу попал в наиболее чувствительное место. Подчинение военного мира гражданскому — это было в его глазах чем-то сверхъестественным, почти чудовищным.

— Я знаю, — прибавил он, — вы имеете в виду военное положение, милитаризацию и т. д. Но вы поймите, что от этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю на-

чальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во время войны Алой и Белой розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне. Если я сниму военное положение, вас немедленно переарестуют большевики, или эсеры, или ваши же члены Экономического Совещания, вроде Алексеевского, или ваши губернаторы, вроде Яковлева². <...>

За эту поездку я впервые получил возможность ближе узнать адмирала. Что это за человек, которому выпала такая исключительная роль? Он добр и в то же время суров; отзывчив — и в то же время стесняется человеческих чувств, скрывает мягкость души напускной суровостью. Он проявляет нетерпеливость, упрямство, выходит из себя, грозит — и потом остывает, делается уступчивым, разводит безнадежно руками. Он рвется к народу, к солдатам, а когда видит их, не знает, что им сказать. Десять дней мы провели на одном пароходе, в близком соседстве по каютам и за общим столом кают-компаний. Я видел, с каким удовольствием уходил адмирал к себе в каюту читать книги, и я понял, что он прежде всего *моряк* по привычкам. Вождь армии и вождь флота — люди совершенно различные. Бонапарт не может появиться среди моряков.

Корабль воспитывает привычку к комфорту и уединению каюты. В каюте рождаются мысли, составляются планы, вынашиваются решения, обогащаются знания. Адмирал командует флотом из каюты, не чувствуя людей, играя кораблями.

Теперь адмирал стал командующим на суше. Армии, как корабли, должны были заходить с флангов, поворачиваться, стоять на месте, и адмирал искренне удивлялся, когда такой корабль, как казачий корпус, вдруг поворачивал не туда, куда нужно, или дольше, чем следовало, стоял на месте. Он чувствовал себя беспомощным в этих сухопутных операциях гражданской войны, где психология значила больше, чем что-либо другое. Оттого, когда он видел генерала, он сейчас хватался за него, как за якорь спасения. Каждый генерал, кто бы он ни был, казался ему авторитетом. Никакой министр не мог представляться ему выше по значению, чем генерал.

И когда адмирал, объясняя нам тобольскую операцию, удивлялся, почему она не удалась, и покорно слушал доклад генерала Редько³, удалившего героя Боткинского завода полковника Юрьева⁴ за то, что он без разрешения победил — я понял, что Верховного главнокомандующего нет.

Что же читал адмирал? Он взял с собою много книг. Я заметил среди них «Исторический вестник». Он читал его, по-видимому, с увлечением. Но особенно занимали его в эту поездку «Протоколы сионских

мудрецов». Ими он прямо зачитывался. Несколько раз он возвращался к ним в общих беседах, и голова его была полна антимасонских настроений. Он уже готов был видеть масонов и среди окружающих, и в Директории, и среди членов иностранных миссий.

Еще одна черта обнаруживалась в этой непосредственности восприятия новой книжки. Адмирал был *политически наивным* человеком. Он не понимал сложности политического устройства, роли политических партий, игры честолюбий как факторов государственной жизни. Ему было совершенно недоступно и чуждо соотношение отдельных органов управления, и потому он вносил в их деятельность сумбур и путаницу, поручая одно и то же дело то одному, то другому. Достаточно сказать, что переписка с Деникиным по политическим вопросам велась сразу в трех учреждениях: Ставке, министерстве иностранных дел и Управлении делами. Увы! Приходится сказать, что не было у нас и Верховного правителя. Адмирал был по своему положению головой государственной власти. В ней все объединялось, все сходилось, но отсюда не шло по всем направлениям единой руководящей воли. Голова воспринимала, соглашалась или отрицала, иногда диктовала свое, но никогда она не жила одной общей жизнью со всем организмом, не служила ее единым мозгом.

Но если адмирал был неудачным полководцем и политиком, то зато как обладатель морских и технических знаний он был выдающимся. В своей специальной области он обнаруживал редкое богатство эрудиции. Он весь преображался, когда речь заходила о знакомых ему вопросах, и говорил много и увлекательно. Как собеседник он был обаятелен. Много юмора, наблюдательности, огромный и разнообразный запас впечатлений — все сверкало, искрилось в его речи в эти минуты задушевной и простой беседы. И в это время чувствовалось, что этот человек мог оправдать надежды, что не напрасно он поднялся на такую высоту.

Будь жизнь несколько спокойнее, будь его сотрудники немного более подготовленными — он вник бы в сущность управления, понял бы жизнь государственного механизма, как он понимал механизмы завода и корабля, единство всех частей, их взаимное соотношение, их стройность.

Но в такое время, когда все были неподготовлены, когда никто даже из лучших профессиональных политиков не сумел найти методов успокоения революционной стихии, — как мог справиться с нею тот, кто всю жизнь учился быть хозяином не на суше и в огне битв, а лишь на море и в царстве льдов, кто провел большую часть жизни не на широком общественном просторе, а в тесной и уединенной каюте!

Адмирал в кругу близких людей был удивительно прост, обходителен и мил. Но когда он одевался, чтобы выйти официально, он сразу

становился другим: замкнутым, сухим, суровым. Не показывает ли это, что роль Верховного правителя была навязана ему искусственно, что изображал он эту роль деланно, неестественно. Весь этикет, который создали вокруг него свита и церемониймейстеры, был не по душе человеку, который привык к солдатской рубахе и паре офицерских ботфорт.

Редкий по искренности патриот, прямой, честный, не умеющий лукавить, умный по натуре, чуткий, темпераментный, но человек корабельной каюты, не привыкший управлять живыми существами, наивный в социальных и политических вопросах — вот каким представлялся мне адмирал Колчак после нашей поездки в Тобольск. Я одновременно полюбил его и потерял в него веру. Какую ответственность взяли на себя люди, которые в ночь на 18 ноября 1918 г. решили выдвинуть адмирала на место Директории!

